

Лекция 11. От суверенной власти к власти над ЖИЗНЬЮ

17 марта 1976 г. От суверенной власти
к власти над жизнью. — Заставить
жить и позволить умереть. — От
человека-тела к человеку-роду:
рождение биовласти. — Области
применения биовласти. — Население.
— О смерти, и особенно о смерти
Франко. — Сочетание дисциплины и
регуляции: рабочий город,
сексуальность, норма. — Биовласть и
расизм. — Функции расизма и области
его применения. — Нацизм. —
Социализм.

Итак, нужно попытаться закончить, подытожить то, о чем я говорил в этом году. Я затронул проблему войны, рассматривая ее как особый подход к трактовке исторических процессов. Мне казалось, что война изначально и практически на всем протяжении XVIII века рассматривалась как война рас. Именно историю борьбы рас я хотел немного воспроизвести. В последний раз я рассказывал, как само понятие войны было вытеснено из исторического анализа принципом национальной универсальности[25]. Теперь я хотел бы показать, что тема расы не исчезает, а воспроизводится в форме государственного расизма. И поэтому сегодня я расскажу о рождении государственного расизма, по крайней мере введу вас в суть дела. Мне кажется, что одним из основных феноменов XIX века было и остается то, что можно бы назвать контролем жизни со стороны власти: это, если хотите, обретение власти над человеком как живым существом, своего рода этатизация биологического или, по меньшей мере, некоторая склонность к такой этатизации. Чтобы понять произошедшее, следует, я думаю, обратиться к классической теории суверенитета, которая в конечном счете и служила нам основой, таблицей для всех этих анализов о войне, расах и т. д. Вы знаете, что в ней право суверена в отношении жизни и смерти подданных было одним из его основных атрибутов. Однако это странное право, странное уже на теоретическом уровне; действительно, что значит обладать правом в отношении жизни и смерти? В некотором смысле это значит, что суверен, по существу, может заставить умереть и позволить жить; во всяком случае, это значит, что жизнь и смерть не являются естественными, непосредственными феноменами, в некотором роде первичными или коренными, которые находились бы вне области политической жизни. Если это положение развить до парадокса, то придем к утверждению, что на деле подданный перед лицом власти не имеет полного права ни на жизнь, ни на смерть. Он нейтрален с точки зрения жизни и смерти и именно от суверена получает право жить или, при случае, умереть. Таким образом, жизнь и смерть подданных становятся правами только по решению суверенной воли. Вот, если хотите, теоретический парадокс. Он, очевидно, должен сопровождаться определенной практической неуравновешенностью. Что фактически означает право на жизнь и смерть? Понятно, не то, что суверен может заставить жить, как он может заставить умереть. Право на жизнь и смерть реализуется только в неравновесии и всегда с перевесом смерти. Право суверенной власти на жизнь начинается с момента, когда у суверена появляется право убить. В конечном счете именно это право действительно содержит в себе саму сущность права на жизнь и смерть: именно в момент, когда суверен может убить, он подтверждает свое право подданного. Это, по существу, право меча. Нет, значит, реальной симметрии в праве на жизнь и смерть. Это не право заставить умереть или заставить жить. Это и не право позволить жить и позволить умереть. Это право заставить умереть или позволить жить. Это, понятно, вводит явную асимметрию.

И я думаю, что действительно одно из самых крупных изменений в области политического права в XIX веке состояло не в замене, а в дополнении этого старого права верховной власти — заставить умереть или позволить жить — другим, новым правом, которое не уничтожает первое, но проникает в него, пронизывает его, модифицирует и создает в точности противоположное право или, скорее, власть: власть «заставить» жить и «позволить» умереть. Значит, право суверена — заставить умереть или позволить жить. Затем появляется новое право: право заставить жить и позволить умереть. Конечно, трансформация осуществилась не сразу. Это можно проследить в теории права (но здесь я буду очень краток). Уже юристы XVII, но особенно XVIII века, поставили вопрос о праве на

жизнь и на смерть. Они, например, спрашивали, почему индивиды заключают общественный договор, почему они объединяются, чтобы создать суверена и делегировать ему абсолютную власть над ними? Они делают это, потому что их подталкивает опасность или нужда. Следовательно, они делают это, чтобы защитить свою жизнь. Они создают суверена, чтобы иметь возможность жить. И в силу этого, может ли действительно жизнь войти в число прав суверена? Но если не жизнь служит основанием права суверена, то может ли суверен реально потребовать от своих подданных права на власть над их жизнью и смертью, то есть просто на власть их убивать? Должна ли жизнь остаться вне договора, если именно она была первым, изначальным и основным мотивом к заключению договора? Все это вызывает в политической философии дискуссию, которую можно оставить в стороне, но которая хорошо показывает, как факт жизни начинает проблематизироваться в области политической мысли, в области анализа политической власти. Я хотел бы здесь проследить указанную трансформацию не на уровне политической теории, а скорее на уровне механизмов, техник, технологий власти. В таком случае мы попадаем в круг знакомых вещей: а именно, как в XVII, так и в XVIII веке возникают техники власти, которые в основном были ориентированы на тело, индивидуальное тело. Имеются в виду все процедуры, с помощью которых обеспечивалось пространственное распределение индивидуальных тел (их разделение, выравнивание, установление их серийности и контроля над ними) и всей системы наблюдения за ними. Это также были техники, с помощью которых власть брала на себя ответственность за эти тела, пыталась увеличить их полезную силу посредством упражнений, дрессировки и т. д.

Сюда относятся также техники рационализации и строгой экономии власти, которая должна была возможно дешевле организовать систему наблюдения, иерархии, инспекций, документов, докладов: всю ту технологию, которую можно назвать дисциплинарной технологией труда. Она утверждается с конца XVII и в течение XVIII века.¹ Однако во второй половине XVIII века появляется, по-моему, нечто новое, другая технология власти, на этот раз не дисциплинарная. Но она не исключает первую технологию, не исключает дисциплинарную технику, а соединяется с ней, интегрирует ее, частично модифицирует и особенно стремится ее использовать, укореняясь в ней и эффективно внедряясь благодаря этой предварительной дисциплинарной технике. Новая техника не уничтожает дисциплинарной техники просто потому, что находится на другом уровне, на другой ступени, у нее другая основа и она пользуется совсем другими инструментами. Новая, не дисциплинарная техника власти — в отличие от дисциплины, которая обращена к телу, — применяется к жизни людей или, можно еще сказать, она обращена не к человеку-телу, а к живому человеку, к человеку как живому существу; в крайнем случае, можно сказать, к человеку-роду. Точнее, я сказал бы так: дисциплина способна управлять множественностью людей, поскольку эта множественность может и должна превратиться в индивидуальные тела, подлежащие надзору, дрессировке, использованию, при случае, наказанию. А затем утверждается новая технология, обращающаяся к множественности людей, но не поскольку они сводятся к телам, а поскольку эта множественность, напротив, составляет глобальную массу, подверженную общим процессам жизни, каковы рождение, смерть, воспроизводство, болезнь и т. д. Таким образом, кроме первого проявления власти в отношении тела, которое осуществляется способом индивидуализации, есть второе проявление власти, не индивидуализующее, а массифицирующее, оно, если угодно, реализуется не в отношении человека-тела, а в отношении человека-рода. После анатомо-политики человеческого тела,

утвердившейся в ходе XVIII века, в конце этого же века можно отметить нечто другое, что уже не является анатомо-политикой человеческого тела и что я бы назвал «биополитикой» человеческого рода.

На что направлена новая технология власти, биополитика, биовласть, находящаяся на пути к установлению? Я вам об этом только что сказал в двух словах: имеется в виду совокупность процессов, включающих в себя пропорцию рождений и смертей, уровень воспроизводства, рост населения и т. д. Именно эти процессы рождаемости, смертности, продолжительности жизни в связи со всем комплексом экономических и политических проблем (о которых я сейчас не буду говорить) составляли во второй половине XVIII века первые объекты знания и первые объекты контроля со стороны биополитики. Во всяком случае, именно в этот момент начинает действовать статистика этих феноменов вместе с появлением первых форм демографии. Становится обычным соблюдение более или менее спонтанных, более или менее конкретных правил, которые эффективно применялись к исчислению рождаемости населения; короче, вырабатываются приемы контроля рождаемости, как они практиковались в XVIII веке. Появляется также проект политики рождаемости или, во всяком случае, схемы вмешательства в глобальные процессы рождаемости. Но биополитика решает не просто проблему воспроизводства. Она обращена также на проблемы заболеваемости, но иначе, чем это было до сих пор в условиях известных эпидемий, опасность которых так заботила политические власти с начала средневековья (этих знаменитых эпидемий, временных драм многочисленных смертей, смерти, от которой никому не было спасения). Теперь, в конце XVIII века, речь идет не об эпидемиях, а о чем-то другом: в целом, это можно бы назвать эндемиями, если рассматривать форму, природу, широту, продолжительность болезней, распространенных среди населения. Это болезни, более или менее трудные для искоренения, но они не рассматриваются в качестве эпидемии, в качестве причины более частых случаев смерти, а как постоянные факторы — и так их интерпретируют — убавления сил, уменьшения рабочего времени, снижения энергии, экономических издержек, причиной которых являются как потери в производстве, так и стоимость ухода за больными. Короче, болезнь как феномен населения: не как смерть, грубо обрушивающаяся на жизнь — это эпидемия, — а как всегда присутствующая смерть, которая внедряется в жизнь, постоянно ее грызет, уменьшает ее и ослабляет.

Именно эти феномены начинают приниматься в расчет в конце XVIII века и ведут к утверждению медицины, главной функцией которой теперь становится служение общественной гигиене, что осуществляется с помощью координации медицинских забот, централизации информации, нормализации знания и включает также кампанию по обучению гигиене и охват населения медицинскими услугами. Итак, проблемы воспроизводства, рождаемости, а также заболеваемости. Другой областью вмешательства биополитики становится вся совокупность феноменов, одни из которых универсальны, а другие случайны, но даже если они случайны, то никогда не могут быть целиком исключены и влекут за собой последствия, аналогичные неспособности индивидов к делам, отстранению от них, нейтрализации индивидов и т. д. Очень важной проблемой с начала XIX века (с момента индустриализации) станет старость, положение индивида, который выпадает из сферы трудовой активности. А с другой стороны, несчастные случаи, увечья, различные аномалии. Именно по причине таких явлений биополитика создаст не только

институты призрения (которые существовали издавна), а гораздо более тонкие механизмы, экономически более рациональные, чем грубая, массовая, но имеющая большие проблемы благотворительность, которая, по существу, была связана с церковью. Возникнут механизмы более тонкие, более рациональные: страхование, индивидуальное и коллективное накопление, обеспечение и т. д.² Наконец, последняя область биополитики (я перечисляю главные, во всяком случае те, какие появились в конце XVIII и в начале XIX века, впоследствии их стало много): она была связана с отношениями между человеческим родом, человеческими существами в качестве рода, в качестве живых существ, и средой их обитания — это неотрегулированные воздействия географической, климатической, гидрографической среды: например, на протяжении всей первой половины XIX века стояли проблемы болот, эпидемий, связанных с существованием болот. А также возникала проблема среды, но не естественной среды, а искусственной, которая оказывала дурное влияние на население, среды, им самим созданной. В основном это проблема города. Я отмечаю здесь просто некоторые из явлений, послуживших основой для возникновения биополитики, некоторые формы ее практики и первые области ее вмешательства, что предполагает одновременно определенные знания и власть: именно на рождаемость, заболеваемость, на различные формы биологической ущербности, на воздействие среды, на все это биополитика начнет распространять свое знание и определять соответственно область вмешательства своей власти.

Итак, я думаю, что во всем этом было немало очень важных моментов. Первое: появление нового элемента — я хотел сказать персонажа, — которого, по сути, не знали ни теория права, ни дисциплинарная практика. Теория права в основном знала только индивида и общество: индивида, заключающего контракт, и общество, созданное на основе реально состоявшегося или подразумеваемого договора индивидов. Что касается дисциплинарных форм, то они практически имели дело с индивидом и его телом. Новая технология власти имеет дело не с обществом в точном смысле слова (или, во всяком случае, не с обществом в понимании юристов); и не с индивидом-телом. Оно ориентируется на новое тело: тело сложное, тело со множеством голов, если не бесконечным, то по меньшей мере нуждающимся в перечислении. Оно выражается понятием «население». Биополитика имеет дело с населением, и население как проблема политическая, вернее научная и политическая, как проблема биологическая и проблема власти в этот момент и появляется.

Второе: также важна — помимо самого появления населения — природа принятых к рассмотрению феноменов. Можно видеть, что это коллективные феномены, которые появляются вместе со своими экономическими и политическими последствиями и обретают значимость только на уровне массы. Подобные феномены, если их рассматривать на уровне индивидов, кажутся случайными и непредвидимыми, но на коллективном уровне они представляют постоянные величины, которые легко или, во всяком случае, возможно вычислить. И наконец, это феномены, которые происходят на большом отрезке времени, времени, взятого в более или менее значительных границах; это серийные феномены. Биополитика в итоге ориентируется на случайные события, которые рассматриваются ею на уровне всего населения и на протяжении определенного времени.

Поэтому — третий важный момент — технология власти, биополитика, порождает механизмы, имеющие некоторое число функций, весьма отличных от тех, которые

выполняли дисциплинарные механизмы. Биополитические механизмы вырабатывают, конечно, прежде всего предвидения, осуществляют статистические подсчеты, глобальные измерения; перед ними стоит задача модификации не какого-то отдельного явления, не индивида, взятого в его единичности, а модификации, которая осуществляется, по сути, на уровне детерминации общих феноменов, обретающих свой смысл в глобальном измерении. Нужно изменить, снизить уровень заболеваемости; нужно увеличить продолжительность жизни; нужно стимулировать рождаемость. И особенно важна задача установления регулирующих механизмов, которые в проблематичной области глобального населения смогут установить равновесие, поддержать его, установить род гомеостаза, обеспечить компенсации; короче, внедрить механизмы безопасности в ту область случайного, где проживает население, состоящее из живых существ, оптимизировать, если угодно, состояние жизни: такие механизмы, как и дисциплинарные механизмы, предназначены в целом максимизировать силы и извлекать их, но они действуют совершенно другими способами. В отличие от дисциплины здесь не стоит вопрос об индивидуальной дрессировке, которая бы осуществлялась воздействием на тело. Абсолютно не стоит вопрос о том, чтобы направить усилия на индивидуальное тело, как это делает дисциплина. Следовательно, речь не о том, чтобы детально рассматривать индивида, а наоборот, о том, чтобы поместить его в рамки глобальных механизмов, действовать так, чтобы достигались равновесие, упорядоченность на глобальных уровнях; короче, следует сосредоточить внимание на жизни, на биологических процессах человека-рода и в отношении их обеспечить не дисциплину, а регулирование.³ Таким образом, там, где существовала драматичная, мрачная власть суверена, обладающая способностью заставить умереть, появляется теперь вместе с технологией биовласти, технологией власти, ориентированной «на» население как таковое, на человека в качестве живого существа, постоянная, ученая власть, функция которой «заставить жить». Суверенная власть заставляла умереть и позволяла жить. А теперь появляется власть с функцией регуляции, она, напротив, состоит в том, чтобы заставить жить и позволить умереть.

Я думаю, что конкретным проявлением этой власти может служить известная прогрессирующая дисквалификация смерти, к этой теме часто возвращаются социологи и историки. Все знают, особенно после появления недавних исследований, что величественная общественная ритуализация смерти исчезла или, во всяком случае, постепенно исчезает, начиная с конца XVIII века и до сегодняшнего дня. Исчезает до такой степени, что теперь смерть — переставшая быть одной из впечатляющих церемоний, в которой участвовали индивиды, семья, группа, общество почти целиком, — становится, напротив, тем, что скрывают; она стала явлением в высшей степени частным и постыдным (в конечном счете не столько секс, сколько смерть оказывается сегодня объектом табу). Однако я думаю, что причина, в силу которой действительно смерть становится чем-то скрываемым, не заключается в исчезновении страха смерти или изменении карательных механизмов. Причина заключается в изменении технологий власти. То, что прежде (вплоть до конца XVIII века) придавало смерти ее значительность, диктовало ее столь высокую ритуализацию, было переходом от одной власти к другой. Смерть была переходом от власти суверена нижнего, земного мира к власти суверена другого мира, находящегося по ту сторону земного. Происходил переход от суда одной инстанции к суду другой инстанции, от гражданского или государственного права, от жизни и смерти к праву вечной жизни или вечного проклятия. Переход от одной власти к другой. Смерть была также передачей

власти со стороны умирающего тем, кто оставался жить: последние слова, последние наставления, последняя воля, завещание и т. д. Именно все подобные феномены власти были ритуализованы.

Однако теперь, когда власть все менее и менее олицетворяет право заставить умереть, а все более и более оказывается вмешательством с целью заставить жить, определить способ жизни, то, «как» нужно жить начиная с момента, когда власть вмешивается на глобальном уровне с целью улучшить жизнь, контролировать ее случайности, риски, недостатки, смерть как граница жизни становится пределом, границей, концом власти. Она находится вне власти, выпадает из поля ее действия и становится тем, на что власть могла бы воздействовать только в целом, глобально, статистически. Влияние власти распространяется не на смерть, а на смертность. И поэтому нормально, что смерть теперь попадает в сферу не просто частного, а самого частного в этой частной сфере. Тогда как в условиях суверенного права смерть была тем феноменом, в котором проявлялась самым очевидным образом абсолютная власть суверена, теперь смерть, напротив, олицетворяет момент, когда индивид ускользает от всякой власти, обращается к самому себе и отступает в некотором роде в самую частную область. Власть больше не имеет отношения к смерти. Строго говоря, власть позволяет смерти исчезнуть. В качестве символа всех этих перемен возьмем смерть Франко, которая представляет событие, все же очень интересное в силу задействованных в ней символических ценностей, так как умирал тот, кто обладал суверенной властью над жизнью и смертью и пользовался ею с известной всем жестокостью самого кровавого из всех диктаторов, кто в течение сорока лет установил абсолютное господство права суверена в отношении жизни и смерти и кто в тот момент, когда приближалась его собственная смерть, обрел некую новую область власти над жизнью, которая представляла не только возможность устроить жизнь, заставить жить, но и в конечном счете заставить индивида жить вне самой смерти. И с помощью власти, которая демонстрирует не просто научную смелость, а выступает, по существу, как политическая биовласть, развившаяся в XIX веке: так успешно заставляли людей жить, что они были вынуждены жить даже тогда, когда биологически они давно уже должны были быть мертвы. Именно таким образом тот, кто обладал абсолютной властью над жизнью и смертью сотен тысяч людей, сам оказался в руках власти, которая так хорошо устраивала жизнь, так мало заботилась о смерти, что даже не заметила, что он был уже мертв и что его заставляли жить после смерти. Я думаю, что столкновение этих двух систем власти, верховной власти над смертью и властью регулирования жизни, символизируется в этом маленьком и веселом событии.

Теперь я бы хотел заняться сравнением между технологией, регулирующей жизнь, и технологией, дисциплинирующей тело, о чем я вам недавно говорил. Итак, с XVIII века (или, точнее, с конца XVIII века) существуют две технологии власти, которые появились с некоторым временным разрывом и взаимно наложились друг на друга. Техника дисциплинирования сосредоточена на теле, оказывает воздействие на индивидов, манипулирует телом как центром сил, стремясь сделать тела одновременно полезными и послушными. И в то же время есть технология, которая ориентирована не на тело, а на жизнь; она заново группирует присущие населению массовые действия, стремится контролировать серию случайных событий, могущих произойти в живой массе; стремится контролировать (при случае модифицировать) вероятность, во всяком случае,

компенсировать ее последствия. Такая технология стремится не к индивидуальной дрессировке, а к глобальному равновесию, к чему-то вроде гомеостаза: к сохранности целого по отношению к внутренним опасностям. Таким образом, технология дрессировки противоположна технологии безопасности или отлична от нее; дисциплинарная технология отличается от технологии страхования или регулирования; в обоих случаях проявляется технология тела, но в одном используется технология, где тело индивидуализировано как организм, наделенный страстями, а в другом технология имеет дело с телами, помещенными в массовые биологические процессы.

Можно было бы сказать следующее: все происходит так, как если бы власть, для которой суверенитет является модальностью, организующим принципом, оказалась недостаточной для управления экономикой и политическими процессами в обществе, переживающем демографический взрыв и индустриализацию. От старой механики суверенной власти слишком многое ускользало одновременно снизу и сверху, на уровне деталей и на уровне массы. С целью уловить детали осуществилось первое преобразование: приспособление механизмов власти к индивидуальному телу, что сопровождалось надзором и дрессировкой, — это была дисциплина. Конечно, это было приспособление более легкое, самое удобное для реализации. Вот почему оно осуществляется очень рано — с XVII века до начала XVIII века — на локальном уровне, в интуитивных, эмпирических, частичных формах и в ограниченных рамках институтов, таких как школа, госпиталь, казарма, мастерская и т. д. А затем, в конце XVIII века, осуществляется другое преобразование, относящееся к глобальным феноменам, к населению, к биологическим или биосоциологическим процессам, касающимся человеческих масс. Это преобразование, понятно, гораздо более трудное, так как оно требовало создания сложных органов координации и централизации.

Есть, значит, два ряда: ряд тело — организм — дисциплина — институты; и ряд население — биологические процессы — регулирующие[26] механизмы государства. Один относится к органическому институциональному целому: институциональная органоdisciplina, а другой — к биологическому и государственному целому: биорегуляция с помощью государства. Я не хочу доводить до абсолюта противоположность между государством и институтом, потому что формы дисциплины имеют тенденцию выходить за институциональные и локальные рамки, с которыми они первоначально связаны. И они легко принимают государственные масштабы в таких институтах, как полиция например, которая представляет собой одновременно дисциплинарный и государственный аппарат (это доказывает, что дисциплина не всегда институциональна). И точно так же крупные формы глобальной регуляции, которые множились на протяжении XIX века, можно найти как на государственном уровне, так и на более низком уровне негосударственных институтов, вроде медицинских институтов, касс взаимопомощи, страхования. Таково первое замечание, которое я бы хотел сделать.

И эти два типа механизмов, дисциплинарных и регулятивных, принадлежат все же не к одному уровню. Это как раз и позволяет им не исключать друг друга и сочетаться друг с другом. Можно даже сказать, что в большинстве случаев дисциплинарные механизмы власти и ее регулятивные механизмы, направленные на население, сочетаются друг с другом. Один или два примера: возьмите, если угодно, проблему города, или, точнее, этого обдуманного, согласованного пространственного расположения, которое представляет

город-модель, искусственный город, город утопической реальности, о нем не только мечтали, но и действительно создавали его в XIX веке. Возьмите рабочий город. Что такое рабочий город, каким он существовал в XIX веке? Очень хорошо видно, что он соединяет, в некотором роде перпендикулярно друг к другу, дисциплинарные механизмы контроля над телом, над телами с помощью расположения, самого разделения города, с помощью локализации семей (каждая в одном доме) и индивидов (каждый в одной комнате). Весь ряд дисциплинарных механизмов легко обнаружить в рабочем городе: разделение, возможность наблюдения за индивидами, нормализация форм поведения, род спонтанного полицейского контроля, который осуществляется в силу самого пространственного расположения города. А затем можно видеть весь ряд механизмов, которые, напротив, являются регулятивными, направленными на население как таковое и насаждающими формы экономного поведения, связанного, например, с жилищем, с его арендой, а при случае с его покупкой. К регулятивным механизмам принадлежат системы страхования болезни или старости; правила гигиены, которые обеспечивают оптимальную продолжительность жизни населения; давление, оказываемое самой организацией города на сексуальность, а следовательно, на потомство; влияние на гигиену семей; забота о детях; школа; и т. д. Таковы, значит, дисциплинарные и регулятивные механизмы.

Возьмем совсем другую область — или, вернее, отчасти другую; возьмем феномен сексуальности. Почему, сексуальность становится в XIX веке областью столь большого стратегического значения? Я думаю, что если сексуальность стала важна, то это произошло в силу многих причин, но особенно следующей: с одной стороны, сексуальность в качестве телесного поведения подчиняется дисциплинарному контролю над индивидами в форме постоянного надзора (известный, например, контроль за мастурбацией, осуществлявшийся в отношении детей с конца XVIII и вплоть до XX века в семейной, школьной среде и т. д., представляет именно дисциплинарный контроль за сексуальностью); с другой стороны, сексуальность вписывается в масштабные биологические процессы и оказывает на них влияние в силу производительных функций, поскольку указанные биологические процессы соотносятся не с телом индивида, а с множественной единичностью, которая составляет население. Сексуальность — это именно пересечение тел и населения. Поэтому она зависит и от дисциплины, и от регуляции.

Чрезвычайное значение, придаваемое сексуальности медициной в XIX веке, — имеет, я думаю, причину в особом положении сексуальности между организмом и населением, между телом и глобальными феноменами. Отсюда медицинская идея, согласно которой сексуальность, когда она недисциплинирована и нерегулярна, всегда имеет два ряда следствий: одни относятся к телу, к недисциплинированному телу, которое сразу оказывается наказано всеми индивидуальными болезнями, навлекаемыми на него сексуальным развратом. Мастурбирующий ребенок будет болен всю жизнь: это дисциплинарная санкция на уровне тела. Но в то же время развратная, извращенная и т. п. сексуальность влияет на население, так как сексуально развратный человек имеет и искаженную наследственность, передающуюся потомству в течение поколений и поколений, до седьмого поколения, и еще дальше. Такова теория вырождения:4 сексуальность как средоточие индивидуальных болезней и как причина вырождения представляет именно точку пересечения дисциплины и регуляции, тела и населения. Теперь становится понятно, почему и как техническое знание в виде медицины или, скорее,

целостность, состоящая из медицины и гигиены, становится в XIX веке элементом, хотя и не самым важным, но таким, значение которого будет возрастать из-за связи между научными изысканиями в области биологических и органических процессов (то есть как в области населения в целом, так и в области здоровья отдельных индивидов) и действиями самой власти, в результате медицина в определенной мере превращается в политическую технику интервенции. Медицина — это знание-власть, которая соотносится одновременно с телом и с населением, с организмом и с биологическими процессами, и поэтому должна оказывать как дисциплинирующее, так и регулирующие воздействия. Если перейти на более высший уровень обобщения, то можно сказать, что элементом, который передвигается из области дисциплины в область регулирования, одинаково применяется и к телу, и к населению, позволяет одновременно контролировать дисциплинарный уровень тела и случайные события биологической множественности, этим элементом, переходящим из одной области в другую, является «норма». Норму можно одинаково удачно применять и к телу, желая его дисциплинировать, и к населению, желая его регулировать. При таких обстоятельствах общество нормализации нельзя представлять как разрастание дисциплинированного общества, дисциплинарные институты которого умножались бы и в конечном счете покрыли бы все пространство — это только первая и недостаточная интерпретация идеи о нормализуемом обществе. Последнее представляет собой общество, в котором под прямым углом пересекаются дисциплинарная норма и норма регулятивная. Сказать, что в XIX веке власть овладела жизнью, или сказать, что в XIX веке власть взяла на себя ответственность за жизнь, значит именно сказать, что власть начала охватывать все пространство, которое тянется от органического к биологическому, от тела к населению, с помощью двойной технологии, с одной стороны, дисциплины, с другой — регулирования.

Итак, мы существуем в условиях власти, которая берет на себя ответственность и за тело, и за жизнь, или, если угодно, берет в целом ответственность за жизнь с обоими ее полюсами — телом и населением. Можно тотчас отметить парадоксы, проявляющиеся на самом рубеже существования биовласти. Парадоксы обнаруживаются, например, на уровне власти, обладающей атомной бомбой, поскольку такая власть заключается не просто в возможности убивать в соответствии с правом, данным всякому суверену, миллионы и сотни миллионов людей (в конечном счете это традиция). Но власть, в ведении которой есть атомная бомба, в современных политических условиях представляет род парадокса, который трудно, если не совершенно невозможно обойти, он состоит в том, что создание и использование такой бомбы приводит в действие суверенную власть, которая убивает, при этом власть убивает саму жизнь, то есть власть осуществляется таким образом, что она способна уничтожить жизнь. И, следовательно, уничтожить себя как власть, обеспечивающую жизнь. Или она суверенна и использует атомную бомбу, но таким путем она сразу перестает быть биовластью, властью, обеспечивающей жизнь, какой она стала начиная с XIX века. Или возникает другая, противоположная крайность, преобладание не права суверена над биовластью, а преобладание биовласти над правом суверена. Преобладание биовласти проявляется, когда существует технически и политически данная человеку возможность не только упорядочивать жизнь, но заставить жизнь множиться, создавать живое, создавать монстров, создавать — в крайнем случае — неконтролируемые и чрезвычайно разрушительные вирусы. Чудовищное увеличение биовласти, в противоположность тому, что я только что говорил об опирающейся на атомную мощь власти, выходит за рамки всей человеческой суверенности. Извините меня за эти длинные рассуждения относительно

биовласти, но я думаю, что именно на этой основе вновь можно обрести проблему, которую я пытался поставить. Итак, возникает вопрос, как при такой технологии власти, которая имеет жизнь своим объектом и целью (что, как мне кажется, является одной из фундаментальных особенностей технологии власти с XIX века), может осуществляться право убивать и функция убийства, если правда, что суверенная власть все более и более отстывает, а вперед, напротив, все более и более выдвигается дисциплинирующая или регулирующая биовласть? Как такая власть может убивать, если правда, что вопрос, по существу, состоит в том, чтобы повысить значимость жизни, увеличить ее продолжительность, умножить возможности, предотвратить несчастные случаи или компенсировать их ущерб? Как в этих условиях возможно для политической власти убивать, требовать смерти, нуждаться в смерти, заставлять убивать, отдавать приказ об убийстве, подвергать смерти не только врагов, но и собственных граждан? Как эта власть может позволить умереть, если ее цель, по сути дела, заставить жить? Как осуществлять власть смерти, исполнять функцию смерти в рамках политической системы, ориентированной на биовласть?

Тут, я думаю, вмешивается расизм. Я вовсе не хочу сказать, что расизм был изобретен в эту эпоху. Он существовал с давних времен. Но я думаю, что тогда он функционировал в другой области. Расизм оказался вписан в государственные механизмы с появлением биовласти. Именно с этого момента расизм становится основным механизмом власти, какой она предстает в современных государствах, что приводит к невозможности функционирования современного государства без обращения в определенный момент, в определенных пределах и в определенных условиях к расизму.

Действительно, что такое расизм? Прежде всего способ ввести наконец в ту область жизни, за которую власть взяла на себя ответственность, некую купюру: купюру между тем, что должно жить, и тем, что должно умереть. В биологическом континууме человеческого рода появление рас, их различие и иерархия, оценка одних рас как высших, а других как низших становится средством фрагментации биологической области, ответственность за которую взяла на себя власть; средством сместить внутри населения одни группы по отношению к другим. Короче, средством установить разрывы биологического типа внутри области, которая представляется именно биологической областью. Это должно позволить власти воспринимать население как смесь рас или, точнее, разделить род, за который оно взяло на себя ответственность, на подгруппы, которые именно и будут расами. Такова первая функция расизма, функция фрагментации, осуществление разрывов внутри того биологического континуума, к которому обращается биовласть.

Вторая функция расизма заключается в том, чтобы установить точное соотношение такого типа: «чем больше ты будешь убивать, тем больше ты заставишь жить» или «чем большему количеству людей ты позволишь умереть, тем больше, в силу самого этого факта, ты будешь жить». Я сказал бы, что это соотношение («если ты хочешь жить, нужно, чтобы ты заставлял умирать, нужно, чтобы ты мог убивать») в конечном счете изобрел не расизм и не современное государство. Это тезис военных: «чтобы выжить, нужно убивать своих врагов». Но расизм действительно заставляет функционировать, реализовать в жизни этот тезис — «если ты хочешь жить, нужно, чтобы другой умер» — совершенно новым и в точности совместимым с функционированием биовласти способом. С одной стороны, действительно,

расизм может позволить установить между моей жизнью и смертью другого соотношение, которое не является соотношением военного типа, но соотношением биологического типа: «чем больше низшие породы будут исчезать, чем больше аномальных индивидов будет исключено, тем меньше вырожденцев будет существовать в роду, тем больше я — не в качестве индивида, а в качестве рода, — буду жить, буду сильным, буду бодрым, смогу размножаться». Смерть другого это не просто моя жизнь в смысле моей личной безопасности; смерть другого, смерть дурной, низшей (или выродившейся, или аномальной) расы должна сделать жизнь вообще более здоровой; более здоровой и более чистой.

Итак, соотношение не милитаризованное, военное, или политическое, а биологическое. И если механизм может действовать, то происходит это потому, что враги, которых нужно уничтожить, не являются противниками в политическом смысле слова; это внешние или внутренние опасности, грозящие существованию населения. Иначе говоря, умерщвление, императив смерти в системе биовласти приемлем лишь постольку, поскольку он ориентирован не на победу над политическими противниками, а на исключение биологической опасности и непосредственно с этим связанным укреплением самого рода или расы. Раса, расизм — это условие приемлемости умерщвления в обществе, в котором осуществляется нормализация. Там, где существует подобное общество, где имеется власть, которая, хотя бы на поверхности, в первой степени является биовластью, там расизм неизбежен как условие для того, чтобы предать кого-то смерти, чтобы предать смерти других. Умерщвляющая функция государства может быть обеспечена только тогда, когда государство функционирует по способу биовласти, через расизм. Понятна вследствие этого важность — я хотел бы сказать жизненная важность — расизма для такой власти: это условие, при котором можно реализовать право на убийство. Если нормализующая власть хочет иметь старое право суверена на убийство, нужно, чтобы она прошла через расизм. А если, наоборот, суверенная власть, то есть власть, обладающая правом распоряжаться жизнью и смертью, хочет функционировать с помощью инструментов, механизмов, технологии нормализации, нужно, чтобы она также прошла через расизм. Понятно, под умерщвлением я не имею в виду просто прямое убийство, но все, что может убить косвенно: факт приговора к смерти, увеличение для некоторых риска смерти или просто политическая смерть, изгнание, неприятие и т. д.

Исходя из этого можно, я думаю, понять некоторые феномены. Прежде всего, связь, которая быстро — я бы сказал мгновенно — устанавливается между биологической теорией XIX века и дискурсом власти. По сути, эволюционизм, понятый в широком смысле — то есть не только сама теория Дарвина, а целостность, связь его понятий (таких как иерархия видов на общем древе эволюции, борьба между видами за выживание, отбор, который исключает наименее приспособленных) естественным образом в XIX веке становится за несколько лет не просто способом пересказа в биологических терминах политического дискурса, не просто способом скрыть политический дискурс за научным облачением, но действительным способом осмысления отношений колонизации, необходимости войн, преступности, феноменов безумия и болезни разума, истории обществ с их различными классами и т. д. Иначе говоря, каждый раз, когда происходило умерщвление, шла борьба, появлялся риск смерти, осмысление всего этого вынуждено было облекаться в форму эволюционизма.

Теперь понятно, почему расизм развивается в современных обществах, где царит биовласть; понятно, почему расизм развивается в некоторых особенных точках, где с необходимостью оказывается затребовано право на смерть. Расизм начинает развиваться *primo* вместе с колонизацией, то есть с колонизаторским геноцидом. Когда нужно убивать людей, убивать население, цивилизации, то как можно бы было это сделать, если используется биовласть? Только через темы эволюционизма, через расизм.

Война. Как можно не только навязать войну своим противникам, но и подвергнуть войне собственных граждан, заставить их убивать миллионами (как это действительно происходило начиная с XIX века, со второй его половины), если не использовать как раз тему расизма? Отныне война ставит две цели: не просто разрушить политического противника, но уничтожить противоположную расу, тот род биологической опасности, который представляют для нашей расы те, кто находится рядом с ней. Конечно, это в некотором роде только биологическая экстраполяция темы политического врага. Но кроме того война — и это абсолютно новое — появляется в конце XIX века не просто как способ укрепить собственную расу за счет уничтожения враждебной расы (в соответствии с темами отбора и борьбы за жизнь), но также как способ возродить свою собственную расу. Чем более многочисленны будут те из нас, кто умрет, тем чище будет наша раса.

Во всяком случае, с конца XIX века мы имеем новый военный расизм, который стал, я думаю, необходимым в силу того, что у биовласти не было другой возможности, начиная войну, сочетать и волю к разрушению противника, и риск убийства именно тех, жизнь которых она должна была, по определению, оберегать, устраивать, численно умножать. Можно было бы сказать то же самое в отношении преступности. Если преступность стала осмысливаться в терминах расизма, то это произошло начиная с момента, когда нужно было с помощью механизма биовласти умертвить преступника или выслать его. То же относится к безумию, к различным аномалиям. Вообще расизм, как я думаю, обеспечивает функцию смерти в системе биовласти в соответствии с принципом, что смерть других означает биологическое усиление себя самого в качестве члена расы или населения, в качестве элемента в унитарном и живом множестве. Можно видеть, что здесь мы оказываемся в основном очень далеко от простого традиционного расизма, который основывается на презрении или ненависти одних рас в отношении других. Мы также очень далеки от расизма, сводящегося к типу идеологической манипуляции, с помощью которой государство или класс пытались бы обернуть против мифического противника направленную на них самих или деформирующую общество враждебность. Я думаю, что современный расизм имеет гораздо более глубокие корни, чем старый традиционный расизм, гораздо более глубокие, чем новая идеология, — это совсем другое. Специфичность современного расизма не связана с ментальностями, с идеологиями, с ложью власти. Она связана с техникой, с технологией власти. Поэтому мы оказываемся гораздо дальше войны расти соответствующего понимания истории, мы оказываемся внутри механизма, который позволяет биовласти осуществляться. Таким образом, расизм связан с функционированием государства, вынужденного использовать феномен расы, политику устранения рас и очищения расы с целью реализации своей суверенной власти. Существование рядом или, скорее, функционирование через биовласть старой суверенной власти, обладающей правом приговора к смерти, означает функционирование, утверждение и активизацию расизма. Именно здесь он эффективно укореняется.

В таком случае понятно, как и почему в этих условиях те государства, которые в самой большой степени способны убивать, оказываются в то же время неизбежно расистскими. Конечно, здесь нужно рассмотреть пример нацизма. В конечном счете нацизм на деле демонстрирует развитие вплоть до пароксизма новых механизмов власти, которые утверждались начиная с XVIII века. Нет, конечно, государства, использовавшего дисциплинарные механизмы более, чем нацистский режим; и также нет государства, в котором биологические регуляции осуществлялись бы более жестко и настойчиво. Дисциплинарная власть, биовласть: все это пройдено нацистским обществом, поддержано им (обществом, принявшим на себя ответственность за биологическое, рождение, наследственность; принявшим также ответственность за болезни, несчастные случаи). Нет общества одновременно более охваченного дисциплиной и более охранительного, чем общество, которое создали или во всяком случае спроектировали нацисты. Контроль над случайностями, присущими биологическому процессу, был одной из непосредственных целей режима.

Но сквозь это в высшей степени охранительное, успокаивающее, в высшей степени регулирующее и дисциплинирующее общество проступал полный разгул власти, способной убивать, то есть старой суверенной власти убивать. Власть убивать, пронизывающая весь организм нацистского общества, проявляется прежде всего потому, что она, власть над жизнью и смертью, дана не просто государству, а определенному ряду индивидов, значительному количеству людей (будь то СА, СС и т. д.). В конечном счете в нацистском государстве все имеют право на жизнь и смерть соседа, хотя бы посредством доноса, который позволяет действительно уничтожить или заставить уничтожить того, кто рядом с вами.

Итак, весь общественный организм испытывал разгул власти, суверенной и несущей убийство. Равным образом в силу того факта, что война явно выдвинута как политическая цель — и в основном не просто как политическая цель для достижения определенного числа возможностей, а как род высшей и решающей фазы всех политических процессов, — политика должна привести к войне и война должна стать конечной и решающей фазой, увенчивающей целое. Следовательно, целью нацистского режима не было простое уничтожение других рас. Уничтожение других рас представляет одну из сторон проекта, другая сторона заключалась в том, чтобы поставить собственную расу в ситуацию абсолютной опасности и всеобщей смерти. Риск смерти, открытость для полного уничтожения составляет одну из основных обязанностей нацистской дисциплины и одну из существенных политических целей. Нужно дойти до ситуации, когда население все целиком будет подвергнуто смерти. Единственно всеобщая подставленность населения смерти помогла бы эффективно его образовать в качестве высшей расы и определенно возродить ее в противовес расам, которые будут полностью уничтожены или окончательно порабощены.

Нацистское общество представляет собой явление все же экстраординарное: это общество, в котором биовласть утвердилась в высшей степени, и в то же время прочно существовало право суверена убивать. В нем в точности совпадали два механизма, классический, архаический механизм, который дал государству право на жизнь и смерть его граждан, и новый механизм, образовавшийся в связи с дисциплиной, регуляцией, короче, новый

механизм биовласти. Так что можно сказать следующее: в нацистском государстве сосуществуют рядом область жизни, которую оно устраивает, поддерживаем гарантирует, биологически культивирует, и в то же время суверенное право убивать каждого — не только других, но и своих. Нацисты реализовали единство развитой биовласти и одновременно абсолютной и пронизывающей все общество диктатуры, предполагающей чудовищное увеличение права убивать и предавать смерти. Это государство абсолютно расистское, абсолютно смертоносное и абсолютно самоубийственное. Государство расизма, государство-убийца, государство-самоубийца. Все это накладывается друг на друга и завершается, конечно, с одной стороны, «окончательным решением» 1942–1943 гг. (в силу которого захотели уничтожить, через евреев, все другие расы, символом и проявлением которых стали евреи) и, с другой — телеграммой за № 71 в апреле 1945 г., в которой Гитлер отдал приказ разрушить условия жизни самого немецкого народа.⁵

Окончательное решение для всех рас абсолютное самоубийство немецкой расы. Именно к этому ведет механика, встроенная в функционирование современного государства. Конечно, один нацизм развил до пароксизма связь между суверенным правом убивать и механизмами биовласти. Но такая же связь на самом деле существует в деятельности всех государств. Только во всех современных капиталистических государствах? Нет, конечно. Я думаю, что на самом деле — но для этого требовалось бы другое доказательство — социалистическое государство, социализм совершенно так же отмечен расизмом, как и капиталистическое государство. Наряду с государственным расизмом, сформировавшимся в условиях, о которых я вам говорил, конституировался социал-расизм, появление которого произошло даже до образования социалистических государств. Социализм с момента своего возникновения в XIX веке был расизмом. И будь это Фурьеб в начале века или анархисты в конце века, или другие формы социализма, в них всегда можно увидеть составляющую в виде расизма.

Здесь мне очень трудно об этом говорить, поскольку я выдвигаю ошеломляющее утверждение. Чтобы доказать его, нужен был бы (что я и хотел сделать) другой цикл лекций в конце. Во всяком случае, я хотел бы просто сказать следующее: мне вообще кажется — здесь это звучит немного дерзко, — что социализм, если он не выдвигает вперед экономические или юридические проблемы о типе собственности или о способе производства, если соответственно проблема механики власти, механизмов власти им не ставится и не анализируется, — социализм, значит, не может избежать того, чтобы в свою очередь не использовать, не применять те же самые механизмы власти, которые создавались капиталистическим или индустриальным государством. Во всяком случае, достоверно одно: тема биовласти, развитая в конце XVIII и в течение XIX века, не только не критиковалась социализмом, но фактически была перенята им, развита, заново истолкована, изменена в некоторых пунктах, но она абсолютно им не пересматривалась в ее основах и способах функционирования. В конечном счете идея, что общество или государство, или то, что должно заменить собой государство, имеют, по существу, функцию взять жизнь под свою ответственность, обустроить ее, умножить, компенсировать случайности, обзреть ее и определять биологические шансы и возможности, мне кажется, была воспринята социализмом такой, какая она есть. С теми вытекающими последствиями, по которым социалистическое государство должно практиковать право убивать или устранять, или право позорить. И совершенно естественно, что именно таким

образом вновь обнаруживается расизм — не собственно этнический расизм, а расизм эволюционистского типа, расизм биологический, — полностью проявляющийся в социалистических государствах (типа Советского Союза) по отношению к психически больным, преступникам, политическим противникам и т. д. Вот то, что относится к государству.

Не менее интересным (эта проблема давно меня занимала) мне кажется, повторю еще раз, что такое же функционирование расизма обнаруживается не просто на уровне социалистического государства, но и в различных формах социалистического анализа или социалистического проекта на протяжении всего XIX века, и это, по-моему, связано со следующим: всякий раз, когда социализм, по существу, настаивал особенно на изменении экономических условий как принципе изменения и перехода от капиталистического государства к социалистическому (иначе говоря, каждый раз, когда он искал принцип изменения на уровне экономических процессов), он не нуждался, во всяком случае непосредственно, в расизме. Зато во всех случаях, когда социализм был вынужден проводить идею борьбы, борьбы против врага, уничтожения противника внутри самого капиталистического общества; когда речь шла, следовательно, об осмыслении физического столкновения с враждебным классом в капиталистическом обществе, расизм снова возникал, потому что это был единственный способ для социалистической мысли, которая была все же тесно связана с темами биовласти, указать причину для уничтожения противника. Когда речь идет просто о том, чтобы уничтожить его экономически, отнять у него его привилегии, нет потребности в расизме. Но когда речь заходит о том, чтобы оказаться с ним один на один и биться с ним физически, рисковать своей собственной жизнью и стремиться его убить, тогда есть нужда в расизме.

Следовательно, каждый раз, когда встает вопрос о социализме, о его формах и тех его моментах, в которых акцентируется проблема борьбы, проявляется его расизм. Именно поэтому наиболее расистскими формами социализма были, конечно, бланкизм, [Парижская] коммуна, анархизм, они были расистскими в гораздо большей степени, чем социал-демократия, чем Второй Интернационал и сам марксизм. Социалистический расизм в Европе исчез только в конце XIX века, с одной стороны, в силу господства социал-демократии (и, нужно четко это сказать, в силу связанного с этой социал-демократией реформизма), а с другой — в результате некоторых процессов, вроде дела Дрейфуса во Франции. Но до дела Дрейфуса все социалисты, в конце концов социалисты в подавляющем большинстве, были основательными расистами. И я думаю, что они были расистами в той мере, в какой (и я на этом закончу) они не пересмотрели — или, если угодно, приняли как само собой разумеющееся — механизмы биовласти, которые установились в результате развития общества и государства начиная с XVIII века. Как можно заставить функционировать биовласть и в то же время реализовать право на войну, на убийство и на предание смерти, если не использовать расизм? Такой была проблема, и я думаю, что она всегда будет существовать.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 04:50:51

Зверобой обновил 27 января 2026 04:52:38